Литературное сегодня

История как вызов современности в буковском романе

Буковская конференция — 2017

DOI: 10.31425/0042-8795-2018-3-13-40

Елена Алексеевна Погорелая

кандидат филологических наук

Российский государственный гуманитарный университет

(125993, Россия, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 6;

email: ellisatis@mail.ru)

Аннотация. Буковская конференция — 2017¹, проходившая в Музее Серебряного века Государственного литературного музея, была посвящена современному историческому роману. Почему проблемы настоящего романисты все более склонны решать, бросая взгляд назад — на прошлое, близкое и далекое, возвращающее к истокам русской истории и к непосредственному предварению нашего бытия в революционных бурях XX века? Какие вызовы современности воспринимаются особенно остро и каковы их истоки? В числе выступающих были романисты Петр Алешковский и Ольга Славникова, критик и эссеист Владимир Новиков, литературные критики Евгения Вежлян, Анна Жучкова, Елена Погорелая. Отдельным докладом о романе «Номах» прозвучало выступление писателя-историка Сергея Беякова (Екатеринбург).

¹ Материалы предыдущих Буковских конференций см. в журнале «Вопросы литературы»: 2002, № 5; 2003, № 4; 2004, № 5; 2005, № 2; 2006, № 2, а также в номерах за май — июнь 2009—2016 годов.

По традиции вел конференцию литературный секретарь «Русского Букера» Игорь Шайтанов. На правах хозяина приветственное слово произнес заведующий отделом литературы Серебряного века Михаил Шапошников.

Ключевые слова: «Русский Букер», современный русский роман, исторический роман, историческая фантазмагория, мир «after-truth».

Текст публикации поступил 21.01.2018.

Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ), проект № 17–78–30029.

Михаил Шапошников. Нам очень лестно сегодня принимать у себя участников Букеровской конференции, потому что Литературный музей всегда был связан с процессами, которые происходят в современной литературе, а «Русский Букер» — событие, безусловно, знаковое для литературной России, и не только России. В Доме Брюсова еще при Брюсове обсуждалось все, что в литературе было нового, интересного и значительного, и хорошо, что сегодня эта традиция продолжается.

Игорь Шайтанов. Я очень благодарен Дому Брюсова за предоставленную площадку и очень рад, что сегодняшняя Букеровская конференция пройдет здесь. Пять лет подряд она проходила в режиме телемоста в здании банка «Глобэкс», но теперь мы переместились — и, надеюсь, надолго — в более привычное нам литературное пространство.

Итак, почему к обсуждению предложена эта тема и что она означает? Как известно, с самого момента возникновения исторического романа он был романом о двух эпохах. Вальтер Скотт всегда говорил, что он пишет об истории для того, чтобы найти какие-то ответы на происходящее в современности. Я думаю, что сейчас происходит то же самое, тем более что нынешний 2017 год побуждает вспоминать историю — не случайно комментарий Петра Алешковского к букеровскому шорт-листу, напеча-

танный в нашем буклете, начинается фразой: «В последние годы наша литература заболела историей...»

Об этой болезни, собственно, и пойдет сегодня речь. Обратите внимание, что в букеровских романах, адресующихся к истории, задействован совсем не только XX век, хотя он задействован чрезвычайно широко, разнообразно и с необычным для исторического романа личным оттенком; особенно интересен *сюжет о долгожителе*, получивший в последнее время развитие и позволяющий увидеть весь XX век глазами одного героя, будь то «Жилец» Михаила Холмогорова, «Авиатор» Евгения Водолазкина или «Жизнеописание Петра Степановича К.» Анатолия Вишневского. Но сегодня задействовано все пространство русской истории начиная со Средних веков. Оно началось для современного романа еще в 2010 году, в скандальном романе Елены Колядиной «Цветочный крест», а теперь так активно присутствует и у Петра Алешковского, и у Евгения Водолазкина, и у Михаила Гиголашвили... Что это? О чем нам хотят сказать современные романисты?

Я предполагаю, что первой сегодня выступит Ольга Славникова — кому и открывать конференцию 2017 года, как не автору романа «2017». А потом я попросил бы высказаться присутствующих здесь критиков и писателей о том, как им видится состояние исторической — и не только исторической — прозы сегодня.

Ольга Славникова. Собственно говоря, мой роман «2017» был написан не про революцию, юбилей которой мы отмечаем в этом году, а про будущее, так что это не совсем исторический роман. Это футурология — впрочем, несомненно связанная с историей.

Начинала я его писать еще в середине 1990-х, когда, во-первых, стало понятно, что светлое коммунистическое будущее мы не построим никогда, а во-вторых, началось вот это безумное расслоение общества, когда буквально за считанные годы у нас появились люди такие богатые и одновременно такие бедные, что сделалось очевидно: те проблемы, которые стояли перед Великим Октябрем, да и те проблемы, которые стояли перед Россией XVI, XVII и XVIII веков, никоим образом не решены до сих пор. И тогда я представила себе, что 2017 год будет годом... как ми-

нимум множества дискуссий по итогам этого столетия — дискуссий очень заинтересованных, очень личных, с большими социальными обидами и с большими страстями.

Я придумала, как мне кажется, удачную форму для облечения этих дискуссий. Мой революционный ремейк начинается в Екатеринбурге, на площади 1905 года, где сходятся ряженные в костюмах, изготовленных специально к юбилею дома Романовых, — кто-то в буденовках, кто-то в шинелях с золотыми погонами — и вот между ними начинается столкновение, которое постепенно охватывает всю страну. Причем проблема-то проявляется именно в костюме начала XX века, в костюме революции и гражданской войны, потому что это знак того самого кровавого карнавала, который в итоге привел к государственному перевороту.

Сейчас мне часто задают вопрос: ну что, сбылось или не сбылось? Честно говоря, когда реконструкторы в День независимости пошли по Тверской, я подумала, что начинает сбываться. Но, скажем так, сегодня государственный переворот остается одной из возможностей нашего общественного развития. Он был более возможен в 2011–2012 годах, когда шло мощное протестное движение и все время казалось — вот-вот... Оно до сих пор остается на грани «вот-вот», хотя сейчас мы явно вступаем в другую полосу — стагнации, если угодно, унылой стабильности. Уныло стабильной бедности, неустроенности, технологического отставания и так далее, и к чему это приведет, неизвестно.

А в моем романе есть одна большая константа — это мир горных духов Урала. Мир горных духов, который первым сигнализирует, что ситуация меняется, что в этой ситуации есть готовность к расцвету: хитникам вдруг открываются удивительные леса, орлы выводят птенцов, появляется какое-то изобилие животной там, рыбной жизни... То есть Урал расцветает, но это страшный расцвет. Этот расцвет означает, что будут большие перемены вокруг.

Чем мое нынешнее видение отличается от того, с которым я писала роман пятнадцать лет назад? Вы знаете, у меня, как это ни парадоксально, такой вот американский взгляд, то есть — я видела только то, что внутри нашей страны. Еще точнее — моей точкой отсчета был Екатеринбу-

бург, мой родной Урал; там были все нервные узлы романного действия, там события начались и там разворачивались. Внешние факторы окружения России практически не учитывались. Тогда, может быть, это так и виделось: то, что внутри нас, важнее всего. А сейчас... Сейчас влияние политических процессов, глобальных процессов экономики сказывается едва ли не мощнее, чем влияние внутренних факторов на нашу историю. И вот, собственно, сейчас я пишу роман «2050» (это рабочее название, но мне оно пока нравится)... Начинала я его писать еще в 2010 году, и речь там шла о выходе России из международной изоляции, когда эта изоляция еще только-только намечалась. Но потом случилось то, что случилось в Крыму и на Украине, и эта ситуация очень сильно поменяла мой замысел. Ну, посмотрим, что там будет в 2050-м.

Владимир Новиков. Если позволите, одно замечание про революцию... С начала года мы наблюдали явное общественное равнодушие к нашему юбилейному событию. Я, кстати, установил официальное название этого события! Установил через филателию, поскольку почтовые марки продолжают выходить. Раньше это называлось «такая-то годовщина Великого Октября», а сейчас... Сейчас существует почтовый блок из четырех марок, который называется «Великая Российская революция».

Четыре марки представляют разные грани революции. Разбитая царская корона — свержение самодержавия; потом — свержение Временного правительства; потом — собственно Октябрьский переворот, а потом — созыв Учредительного собрания. То есть в этом блоке гармонично примирены волки и овцы: Учредительное собрание и большевики, которые это собрание съели. Решение компромиссное, блок марок — 2017 года... Видимо, это такой государственный документ.

Но это так, ремарка. А замечание у меня вот какое. У меня сложилось впечатление, что сейчас особенно ценны не концепции и не споры о том, называть ли это революцией или переворотом, а конкретное, прицельное историческое знание. Историческое, но осовремененное! Осовременивание неизбежно, потому что романы пишутся на современном русском языке.

Роман о прошлом — это прежде всего роман с языком. Помните, как начинается «Пушкин» Тынянова? «Майор был скуп». Вот это «и» вместо «й» — собственно говоря, и есть завязка романа; говоря по-бахтински, диалогизованный гибрид. Это форма любого современного романа о прошлом.

Тут есть еще и вот какой момент... Недавно наш коллега Михаил Павловец задал вопрос в Сети: он прочел у одного современного писателя — не будем пока называть имен — реплику его героя, где тот рассуждает о том, что он может сделать как правитель и что — как *человеке*. Понимаете? Форма звательного падежа в значении именительного! Павловец задает вопрос — это постмодернизм? Мне кажется, это не постмодернизм, а кое-что совершенно другое.

Игорь Шайтанов. Поскольку мой опыт — это опыт пребывания между двух культур, русской и английской, я вспоминаю, что происходило в Англии в течение нескольких десятилетий после так называемой славной революции 1688 года, которая завершила кромвелевский период. Тогда было очень много разногласий религиозных и политических, началась парламентская борьба, появились партии — тори и виги, то есть все шло на разрыв... И когда доходили до какого-то момента, когда начинало казаться, что еще год-два и что-то взорвется, они задавали друг другу простой вопрос: «Вы что, хотите, чтобы стало опять как при Кромвеле?» И отвечали друг другу: «Нет, только не это». Поэтому сейчас, когда мы втягиваемся в полемику, рассуждая о том, что уже было, что будет... — я бы все-таки хотел, чтобы опыт столетней давности держался у нас в сознании. Хотите, чтобы опять как в 1917-м?

Елена Погорелая. Нет, не хочу. Хочу вернуться не к глобальным вопросам, а к локальным текстам, с которыми мы сегодня имеем дело. Потому что сейчас, мне кажется, — в свете исторического юбилея или чего-то иного — настало время подведения итогов тому, что в современной литературе творилось примерно с 2000-х, когда она начала стремительно меняться и пришла к тому состоянию, в котором существует сейчас.

Мне кажется, что в современной культуре место исторического романа как романа костюмного, целиком посвященного определенной эпохе и отличающегося сю-

жетностью и довольно лобовым, прямолинейным, но убедительным психологизмом, отдано жанру фэнтези, всевозможным фанфикам и ролевым играм. А то, что мы имеем сегодня в прозе, — это не столько исторический, сколько историко-идеологический или, если сказать мягче, историко-проблемный роман. То есть роман, отличающийся не отношением к истории, а способами постановки и разрешения проблем, с которыми современные романисты сталкивают читателя.

На мой взгляд, применительно к проблемам, ставящимся в романах, мы имеем три уровня современной проблемной исторической прозы. Первый уровень — это роман-реконструкция. Автор реконструирует определенный исторический период со всеми его бытовыми, сюжетными и жизненными подробностями. Этот роман наиболее близок к костюмному: он не выходит за пределы определенной эпохи и ставит в этих пределах проблемы универсальные, если угодно — проблемы-константы: жизнь, смерть, любовь, семья, война, подростковый кризис, кризис среднего возраста... Все, с чем сталкивается человек любой эпохи, в этих романах развернуто на конкретном историческом материале.

К сожалению, такие романы, сами по себе довольно интересные, обитают в зоне приграничной к массовой литературе. Чтобы приподняться над этим уровнем, нужен ракурс, какая-то неожиданная точка зрения; если автор находит ее, то роман удастся. Таков, к примеру, роман Ирины Богатыревой «Кадын», посвященный проблемам взросления; в центре внимания Богатыревой — подростковая инициация, война, конфликт между любовью и долгом и прочие универсалии, но решено все это на материале древней пазырыкской культуры и легендарной истории принцессы Укока, что позволяет нам воспринять исторический в сущности сюжет как сюжет вневременной. «Кадын» обрела высокую популярность, особенно в подростковой и студенческой среде (стала даже лауреатом «Студенческого Букера» — 2016): у романа есть группа почитателей во «ВКонтакте», по ее мотивам ведется ролевая игра... В 2017-м Богатырева написала новый роман, уже о современных подростках, но без этих исторических констант он получился гораздо менее убедительным.

Второй уровень — это роман-метафора. История в нем становится просто метафорой для происходящего в современности. Скажем, романы, посвященные сегодня революции 1917 года, к примеру — «Мысленный волк» Алексея Варламова, явно отражают происходящее в современности: всю эту религиозную и общественную истерию, все эти трещины, бегущие по дружеским отношениям, по отношениям внутри семьи... Но, будучи решены на историческом материале, эти вопросы вызывают меньше читательского негатива, чем если бы они были поставлены применительно к современности. Перевернутая оптика позволяет нам воспринимать это спокойнее, хотя в том же «Мысленном волке» или в «Тайном годе» Михаила Гиголашвили явно звучат предупреждения о сегодняшнем дне.

На самом деле путь романа-метафоры — это опасный путь. Читатели и критики относятся к этим романам страстно и вчитывают в них определенные смыслы — например, не так давно Гиголашвили обвинили, что в романе «Тайный год» под видом Ивана Грозного он изобразил сами-знаете-кого и что это изображение безумия носителя верховной власти безосновательно и некорректно.

Третий же уровень, лично мне, наверное, наиболее близкий, — это *неисторический роман*. Роман, в котором осуществляется не столько постановка, сколько развитие проблемы; роман, который выводит действие из истории в современность, показывая, что такое, по Бродскому, время — и что оно делает с человеком. Это романы-эксперименты — как «1993» Сергея Шаргунова или «Учитель Дымов» Сергея Кузнецова. Мне кажется, что сейчас настало время таких романов, позволяющих увидеть современного человека на фоне меняющейся, эволюционирующей истории.

Алексей Алехин, поэт, главный редактор журнала «Арион». А куда, в какую категорию вы бы записали «Войну и мир»?

Елена Погорелая. Я ведь говорю только о современных романах! В XIX веке, конечно, работала бы иная классификация...

Татьяна Колядич, литературовед. А я бы хотела спросить насчет Юлии Яковлевой и ее романах о сталинском времени... Вы ее относите к первой группе? Потому что

вы говорили о подростковой литературе, а именно в этой сфере она и работает.

Елена Погорелая. Вы знаете, у собственно подростковой литературы другая задача... Я говорила о романах, которые не относятся к детскому или подростковому чтению изначально, а скорее отдрейфовывают туда по прошествии времени — как, например, «Три мушкетера», из взрослого ставшие детским чтением. А Яковлева с ее «Ленинградскими сказками» ставила себе целью именно адаптировать советскую реальность под восприятие ребенка, сделать ее для ребенка понятной. Это другая жанровая история, совершенно замечательная в своем роде.

Петр Алешковский. Ну какое же это детское чтение — «Три мушкетера», никуда они не дрейфовали, я их уже раз по десять перечитал, перечитываю во время каждой болезни... Проблема исторического романа — очень простая и, на мой взгляд, не нуждается в классификациях. То, что произошло вчера, уже исторический роман. То, что произошло позавчера, исторический роман по определению. А если то, что произошло позавчера, происходит еще и сегодня, тогда, может быть, это — роман сегодняшней.

Писатель всегда работает со временем, но работает он с ним очень по-разному. Абсолютно понятно, что, когда берется время или герой, рассказать о всей его жизни невозможно. Отсюда возникают жанр и архитектура. Иначе как по кусочкам мы не можем восстановить ни свою жизнь, ни тем более жизнь иного, который всегда — другая Вселенная (а герой — это просто сконструированная Вселенная). Кроме того, в классификацию никогда не укладывается психология. Потому что писатель волен выбрать те ходы, которые он хочет выбрать и которые ему надо выбрать.

Я бы сказал, что роману, как назвала это Елена Погорелая, реконструкторскому, сегодня противостоит не фэнтези, а сериал. И то, что наши сериалы, которые мы смотрим сегодня, ужасающие, — конечно, показатель того, что мы живем в культурной Нигерии. Более того: наш подход к истории абсолютно политизирован, потому что найти язык, описывающий сегодняшнюю жизнь, очень мало кому удается. Буквально — считанным единицам писателей, едини-

цам художников, единицам кинорежиссеров. Нет направляющей линии, есть абсолютные одиночки.

Упрощение — совершенно стандартный прием в эпоху идеологии, работающей с массовой публикой. В эту эпоху идеи писателей могут быть примитивными — как в некоторых из восьмидесяти буковских романов этого года, которые я прочитал (не буду показывать пальцем): кто-то кричит «дай бабла!», кто-то — что нужно «свергнуть богатых» и прочее. Зачем, почему — эти вопросы в них просто не ставятся. Это очень настораживает, очень пугает... А с другой стороны — что пугаться? Мы взрослые люди, и страха нет. Единственное, что у нас есть, — это адская боль в кишечнике, которая может довести до прободения язвы, оттого что сегодня мы узнаем, что на Кирилла Серебренникова, например, писали доносы все кому не лень; что нынешнее Министерство культуры — это Министерство даже не идеологии, а Министерство «дай бабла»... Такого у нас еще никогда не было. Вот об этом надо говорить.

К сожалению, получается следующая ситуация — и тут мне придется показать пальцем. Возьмем роман Леонида Юзефовича «Зимняя дорога», триумфально собравший все возможные премии в прошлом году. Когда Юзефовичу задают вопрос: «А зачем вы написали этот роман?», — он отвечает: «Затем, что пора помирить наконец красных с белыми». Здесь уже что-то звучало подобное: «Крови хотите?» Нет, никто не хочет крови. Мы уже наелись крови в XX веке, но когда так заявляет писатель, то получается, что...

Мы все помним деда. Некоторые — прадеда. Это глупина нашей личной истории. Больше — нет, дальше — нет. Октябрьская революция, или Октябрьский переворот, — это то, что еще с нами, во всяком случае, с нами — шестидесятилетними. Я несу ответственность за это, я до сих пор хочу знать правду и хочу понимать и слушать настоящих историков, которым я доверяю. А писатели... Когда писатель бросает фразу — политическую, по сути, фразу: «Пора помирить красных с белыми»! — это значит, что он ничего не сказал.

Не сказал, как Василий Голованов в жэзээловском романе «Махно», как ужасна гражданская война, как кровава, как предательски нечестна — как любая война. Пото-

му что война, будь она даже задумана как честная и справедливая, неизбежно уничтожает все гуманное, доброе и хорошее даже в тех, кто просто идет ей навстречу. Не сказал, что хотя Холокост, ГУЛАГ, режим Пол Пота и тому подобное неопровержимо доказали, что уничтожение человека человеком — ужас и кошмар, это продолжает оставаться обязательной составляющей режима любой страны, в том числе нашей, за исключением, может быть, счастливой Голландии или какой-нибудь Швеции, но не тех стран, которые помощнее и поносорожистей.

Или вот следующая история — Захар Прилепин... В 2014 году он написал «Обитель», массовую книгу, разошедшуюся невероятными тиражами и принесшую ему всенародную славу. И вот ведь в чем дело: фальшь, абсолютная фальшь, которой проникнута эта книга про Соловки, ни разу нигде, кроме Фейсбука, не была отмечена! Может быть, эти люди, тысячи людей, покупаются на все растущее писательское мастерство Прилепина (хотя оно растет очень сложно, и все равно его проза по-прежнему опирается на прилагательные, чего не должна делать русская речь, которая живет глаголами и точным словом)? Но все равно... Ведь мы до сих пор не закончили десталинизацию. А ее закрывают опять, эту тему, ее заливают бетоном!

Это то, что я хотел сказать про ближайшее прошлое. А про древнее прошлое... Романы о нем должны базироваться на детальном исследовании исторических сочинений. В противном случае лично мне это абсолютно неинтересно, я чувствую в этом фальшь. Вообще фальшь очень ясно чувствуется всегда: и на уровне литературного дарования, и на уровне слова, и на уровне материала.

Игорь Шайтанов. Спасибо. Вы говорили, Петр, касаясь очень многих болевых точек и задевая их с разных сторон, как-то: с одной стороны — *крови наелись*, с другой стороны — *примиряться не надо*... У нас, конечно, — Нигерия, не чета счастливой Голландии... Но, вы знаете, Голландия живет с очень большим чувством вины: нет другой такой европейской страны, которая сдала немцам всех своих евреев до одного. Они до сих пор это помнят и с этой виной продолжают жить. Так что своя вина, и своя кровь, и свой идиотизм современности есть во всех странах.

Но ввиду всех этих крайностей и всех болевых точек, задетых вами, у меня возникает один вопрос. Вопрос по вашей фразе: *нет нормальной идеологии*. А что бы вы считали сегодня нормальной идеологией?

Петр Алешковский. В ельцинское время в одном правительственном пансионате были собраны весьма неглупые люди, специалисты, которым была поставлена задача: придумать идеологию для страны. И они серьезно работали. Они читали газеты, изучали литературу, даже письма читали... И в результате они пришли к выводу, что идеологию навязывать нельзя. Придумывать нельзя. Она должна родиться сама.

Обвинять меня в том, что я не хочу своей стране идеологии, неправильно. Но, мне кажется, то, что сегодня называют идеологией, и то, чем обусловлено бесконечное припадание к уже пройденным героям нашей истории, это опять-таки фальшь. В советское время необходимо было придумывать святых. А я считаю, что святых не надо придумывать, они есть! О них надо вспоминать. И находить настоящих новых святых — не фейком кормить людей, не Павликами Морозовыми, от которых у советских школьников возникал рвотный рефлекс, а настоящих святых находить, тех, вокруг кого сможет консолидироваться наше общество.

Потому что консолидация нашего современного общества — это кажущаяся консолидация. Люди растеряны, люди нищи, и думать, будто они не понимают, что ими манипулируют, — очень опасно.

Игорь Шайтанов. Да, это справедливо, но опять же — не случайно во все мировые справочники политологии как характеристика сегодняшней эпохи входит выражение «after-truth». Мы живем в мире *после правды*. Мы живем в мире творимых мифов, видя, как они творятся на наших глазах.

Евгения Вежлян. Почему современная литература так любит прошлое? Если мы посмотрим на тексты, которые последние пять лет входили в какие-либо премиальные списки, мы увидим, что большая их часть посвящена менее отдаленному, более отдаленному либо совсем отдаленному прошлому — и очень редко случаются приемлемые по качеству, удачные тексты о современности. Более того: если ав-

тор и обращается к современности, чаще всего это некоторое гротескное изображение сегодняшнего дня, с использованием языков преувеличения, окарикатуривания и т. д. Почему так? Мне кажется, ответ заключается в следующем: для современности прошлое — это *новое настоящее* литературы.

Начнем с того, что в эпоху «постправды» есть такая вещь, как кризис исторического зрения. Новые историчистские теории и спекуляции — вроде того, что в Европе никогда не было концентрационных лагерей, — возникают именно оттого, что этот кризис есть. Как маленькие дети, играя, раньше смешивали разные исторические эпохи, так и сейчас школьники старших классов и студенты младших курсов смешивают в своих ответах эпохи и не очень понимают, почему надо знать, что они шли друг за другом. Это не значит, что школьники и студенты плохие, это просто факт современного бытия.

Кроме того, в нашей стране есть и своя собственная проблема, касающаяся литературы, и заключается она в том, что те языки, те точки сборки литературы, которыми мы всегда пользовались, внезапно оказались, как бы это сказать, не совсем годными. И создание нового языка современности — это большая задача литературы. Не все с ней справляются. А если вспомнить еще и о проблемах с идентичностью, то получится, что мы видим свою идентичность только ретроспективно. То есть прошлое для нас — это та точка, в которой мы можем с точностью, пользуясь проверенными языками, собрать себя.

Мне кажется, это состояние само по себе очень интересно. Пусть это кризис, но за ним ужасно интересно наблюдать.

Ольга Славникова. Скажу с точки зрения практикующего романиста. Коллеги, я не раз задавалась вопросом, доживу ли я до того времени, когда вскроется правда о гибели боинга над Донецком и Луганском...

Петр Алешковский. Так это надо жить долго! Российский писатель должен жить долго.

Ольга Славникова. ...но допустим, что вот наконец мы получаем объективные данные, скажем, с американских спутников наблюдения, мы получаем переговоры украинских диспетчеров со своими портами — и в результате вы-

ясняется нечто, неважно что. Но, понимаете, в ситуации вот этой самой «постправды» результат просто не будет иметь значения! Это будет всего лишь один из вариантов! Поэтому — что такое «постправда», что такое это цветущее жизнью болото, в которое мы с разбегу влетели? Это превалирование субъективности над объективностью, причем субъективность всегда коллективна. То, во что верит большинство, то, что нравится большинству, то и есть правда. А для меня лично правда то, что знаю я, во что верю я и что я, собственно, никому не обязана доказывать.

То есть в итоге у нас будет не противостояние правды и лжи, а противостояние разных вариантов восприятия действительности, каждый из которых ничем не лучше и не хуже другого.

Как сейчас романисты представляют историю?

С одной стороны, традиционное каноническое восприятие истории — это история как нечто объективно существовавшее в прошлом, что может быть обнаружено в настоящем при помощи инструментов исторической науки, как-то — изучения фактов, документов и т. д. и т. п., и при этом способное быть беллетризованным, то есть описанным и примененным в прозе — с достоверной реконструкцией событий и психологии людей того времени. С другой стороны, сегодня актуальнее второй вариант восприятия: никакого объективно существовавшего прошлого нет, а есть только разные способы его обнаружения и описания, и, собственно говоря, эти способы и ложатся в основу тех книг, которые пишутся об истории сейчас и будут написаны в будущем. Альтернативная история! Альтернативная история — это то, что мы можем противопоставить той официальной истории, которая служит идеологии. Вот это отсутствие объективной и одинаковой для всех правды, коллеги, — это тот камень, о который мы с вами споткнемся и расшибем себе наши высокие лбы.

Игорь Шайтанов. В качестве реплики позволю себе напомнить слова Тынянова о различении правды писательской и правды документальной: писатель начинает там, где кончается документ. Писатель предлагает нам альтернативную историю, но должно быть некоторое доверие и к документу, который нельзя переписывать!

Фальсификация документа, непринимание его во внимание — вот это и есть «после правды».

Ольга Славникова. Я понимаю, но... Допустим, документ по всем доступным нам источникам признан подлинником, однако — и вот в чем, Игорь Олегович, наша болезнь! — подлинность перестает быть качеством, которое хоть кого-либо интересует сегодня. И когда мы через двадцать пять лет узнаем, к примеру, что боинг сбил украинский летчик, это не будет иметь никакого значения. В нашем сознании боинг по-прежнему будет сбит боевиками, то есть — сепаратистами вот этих самых несчастных республик, и что бы там ни было обнаружено, это уже ничего не изменит. И как нам во всем этом жить, я не знаю пока.

Петр Алешковский. Я с вами кардинально не согласен! У нас, видимо, разные кафедры: я заканчивал истфак и свято придерживаюсь мнения, что история — это наука, а не развлечение. Поэтому никакой альтернативной истории не существует. Это сказочка для ребенка на ночь, придумывание Лукоморья... Но во взрослом мире это бессмысленно и опасно.

История развивается так же, как квантовая механика или физика. Развивается! Появляются новые данные, новая критика документов, новые знания, новые методы изучения и критики документов. На основании этого выстраиваются некие взгляды. Мы знаем честных, абсолютно преданных науке историков в самое адское сталинское время — таким был, скажем, Петр Андреевич Зайончковский. Никто не плюнет на его могилу, все лучшие историки того времени вышли из его школы. То, что знал Зайончковский тогда, что он обрабатывал и что было им вынесено на всеобщее обозрение, сегодня можно дополнять и пересматривать, к чему Петр Андреевич всегда призывал и никогда не был против, но фальсифицировать это нельзя.

Поэтому если боинг и в самом деле собьет украинцы, это будет очень обидно. Потому что по сегодняшним понятиям, по сегодняшнему пониманию сбили его *наши* офицеры, присланные на службу республикам — ДНР и ЛНР, построенным *нашей* идеологической системой для того, чтобы оттянуть болячку от Крыма, который мы выкрали, потому что украинцы просвистели его и профукали.

Игорь Шайтанов. Петр, но это тоже интерпретация.

Петр Алешковский. Конечно. Интерпретация — это и есть самое главное. История очень сложна, очень много-стороння. Мы следим за современностью, но то, что мы, многое зная, очень многое просто не в силах интерпретировать, это факт.

Максим Ни, журналист. А если вернуться к литературе... Не стоит ли ей на данном этапе, когда любое событие плодит бесконечное количество интерпретаций и полемических мнений, не стоит ли ей забыть об истории и все свои силы устремить в современность? Мир после правды — это ведь мир, фактически созданный массмедиа. Мы открываем «Взгляд» — и видим одну точку зрения, мы включаем «Дождь» — и видим точку зрения совершенно другую... После всех этих бесконечных интерпретаций человеку ничего не остается, как читать только какую-нибудь одну газету и воспринимать одно мнение, потому что иначе он просто сойдет с ума. Мне кажется, в этой ситуации особенно нужны книги, которые, не навязывая какой-то определенной идеологии, способствовали бы формированию целостной картины мира, но таких книг практически нет.

Сергей Беляков. Простите, но вы осознаете, что ваш замечательный вопрос — он уже стал историей? История — это единственная временная реальность, доступная нам. Будущего еще нет, настоящее — это миг, это вечно открытая дверь, через которую мы проходим, не замечая ее, а прошлое — это воздух, которым мы дышим. Все уходит в прошлое — не только вчерашний, но и сегодняшний день... Поднимать руку на историю — это поднимать руку на самих себя.

Другое дело, что хотим мы того или не хотим, но большинство людей изучают историю по историческим романам. Редко у кого остается в памяти несколько сухих строчек из учебника — и, думаю, изучать войну 1812 года по «Войне и миру» даже лучше, чем по учебнику (хотя, конечно, хуже, чем по специальной исторической литературе, но кто до нее дойдет? мало кто). Кроме того, было время, когда исторические романы писались о людях, о которых не писалось в учебниках, — например, о канцлере Горчакове в учебнике можно найти только несколько строчек, зато есть ро-

ман Валентина Пикуля «Железный канцлер». И не с этим ли связана популярность пикулевских романов?

Что же касается нынешних романов, в том числе и тех, что вошли в букеровский шорт-лист 2017 года, то назвать их историческими в полном смысле этого слова нельзя. Вот, например, уже упоминавшийся роман Гиголашвили об эпохе Ивана Грозного. Автор, бесспорно, очень хороший исследователь, он хорошо поработал с литературой, там много тонких наблюдений и замечаний, оценить которые может только историк, и более того — только историк-медиевист. Но наряду с этими тонкими наблюдениями, которые свидетельствуют о прекрасном знакомстве автора с эпохой, мы видим то, что делает этот роман не историей, а исторической фантасмагорией. Вот смотрите: там есть рассуждения по поводу недавно найденной в стране Шибир, то есть Сибири, «нафты», то есть нефти. Гиголашвили знает, что первое упоминание нефти в исторических источниках относится ко временам Бориса Годунова, причем тогда она употреблялась как лекарственное средство? Дальше упоминаются... чукчи. Чукчи, вдумайтесь, своими набегами мешают государственному продвижению в Сибирь! И вот у Гиголашвили описывается, какие они воинственные, в каких ярангах живут, какие шубы выделывают и так далее. Все это очень хорошо, но только с чукчами русские познакомятся в конце XVII — начале XVIII века! Во времена же Ивана Грозного еще с манси, с вогулами, воевали. Или «китайская трава ча». Наверное, всем известно, что чай попал на Русь только во времена Алексея Михайловича...

Алексей Алехин. Нет. Первое упоминание чая приводится в перечне подарков, преподнесенных казанскими татарами Ивану Грозному, и приводится следующим образом: «...и в том числе два мешка ни на что не пригодной чай-травы...»

Сергей Беляков. Значит, Гиголашвили действительно очень тонко знает источники! И вместе с тем намеренно дает полный анахронизм, играя с читателем. Это интересная, тонкая игра, которую понимает историк, которую понимает просвещенный читатель... Это фантасмагория, дающая понять, что действие происходит не во времена Ивана Грозного, а в некоей вневременной России.

Другой роман из шорт-листа, который я читал еще более внимательно, — роман Игоря Малышева «Номах». Опубликованный в январском номере журнала «Новый мир» за 2017 год, он вышел на первое место в рейтинге Журнального зала. К традиционной ярмарке Non-fiction роман выпустили и отдельной книгой.

Журнальный вариант несколько отличается от книжного. Последний полнее и шире журнального, но в то же самое время содержит немало ошибок, анахронизмов, странностей.

Нестор Номах, заглавный герой романа, — это Нестор Махно, а действие происходит во снах и наяву. Наяву — в 1919–1921-м, во время Гражданской войны. Сны видит уже больной, умирающий Махно где-то в конце 1920-х — начале 1930-х. В романе много вымышленных героев, но есть и герои, имевшие прототипов: Щусь, Задов, Каретников (Каретник), Сенин (Есенин). Часть действия происходит в Париже, где Номах-Махно доживал последние годы, часть — в мистическом пространстве снов Номаха. Однако основное действие развивается на юге левобережной Украины, в Приазовье, частично — на Донбассе. Словом, там, где почти сто лет назад появилась махновщина.

Но чем дольше, чем внимательнее читаешь роман Игоря Малышева, тем больше сомневаешься. В самом ли деле это годы Гражданской войны? В какой стране все это происходит? Махно ли перед нами?

В тексте много анахронизмов, подчас забавных: «Сенин, раздеваясь на ходу, пошел к пруду. Первым упал возле самого шалаша галстук, последними, уже на прибрежный песок, трусы».

Трусы появились в 1920-е, а в СССР попали на рубеже 1920–1930-х. Кстати, тогда чаще использовали слово «трусики». Они были не столько элементом нижнего белья, сколько частью спортивной формы. Впервые их появление фиксирует словарь Ушакова издания 1935–1940 годов: «Короткие штаны для купанья или для спортивных состязаний. Футболисты в белых трусиках». Так что даже на такой «столичной штучке», как Сенин-Есенин, они невозможны. И это вовсе не единственное упоминание трусов в романе.

Вика, махновская разведчица-диверсантка, она же любовница Щуся и возлюбленная Сенина-Есенина, балуется стихосложением. Ее возлюбленному понравились такие стихи:

И на бересте небес,
Верным стилем штыков,
«Русскую правду» навек
Черный напишет полк.

О том, что наши предки использовали бересту в качестве писчего материала, в годы Гражданской войны знали разве что редкие специалисты по старообрядческой книжности. Сами старообрядцы об этом тогда вряд ли помнили. И староверы писали по бересте чернилами, а не стилем-писалом. Берестяные грамоты стали широко известны только после находки первой берестяной грамоты Артемием Владимировичем Арциховским в 1951 году. А действие романа происходит, напомним, в 1919—1921-м и в начале 1930-х.

Язык героев не всегда соответствует эпохе: «— Нестор, на секундочку! — Задов отвел его в сторону». Кстати, Малышев зачем-то ретранслирует известный миф об одессите Леве Задове, хотя Лев Зодов (Зеньковский, Задов) родился на Донбассе, в еврейской земледельческой колонии. Одесситом он станет уже в 1920-е, когда поступит на службу в ОГПУ. Не такая уж великая историческая тайна. Даже в русской «Википедии» об этом можно прочитать.

На первый взгляд, все это может показаться лишь авторскими недоработками, ошибками, небрежностями. На самом же деле все не так просто.

В романе «Номах» очень много сцен насилия, много зверств — белый, красный, черный, желто-голубой террор описан подробно, откровенно, в общем — правдиво. Автор не обеляет, не гуманизирует махновцев-номаховцев, и все-таки раз за разом показывает читателю: борьба номаховцев справедлива, а значит — она и богоугодна. Будто новый Иисус Навин, огнем и мечом осуществляет Номах Божью волю. В книге много церковных, религиозных образов. А Номаха пару раз удостаивает беседой сам Господь Бог:

Нестору представился старый, седой, очень усталый Бог по ту сторону иконостаса.

- Получилось у нас, Господи.
 - Вижу.
 - Что скажешь?
 - А что тут скажешь? Молодцы. Не верил я в вас. Только ведь и ты не верил, что получится. Так, Нестор?
 - Так, Господи. Но хотел верить, не рассказать, до чего хотел.
 - Знаю, видел.
- Бог вздохнул, и эхо тонкими крыльями тронуло каждый выступ и уголок внутри храма.

Что же общего у этого боголюбивого Номаха с настоящим Махно? Исторический Нестор Иванович был убежденным атеистом, настоящим воинствующим безбожником. Священнослужителей махновцы оскорбляли, убивали, подчас просто изуверскими способами. По свидетельству Виктора Белаша, начальника штаба махновцев, Махно лично руководил расправой над священниками, да и Нестор Иванович в своих мемуарах ненависти к духовенству не скрывал. В одном селе навстречу Махно вышел священник с несколькими пожилыми крестьянами, вынесли хлеб-соль. Однако батенька хлеб-соль не принял, говорить с попом отказался, но велел передать через своего соратника Федоса Щуся такое распоряжение: «...никогда не выводить навстречу мне крестьян и самому не подходить ко мне с крестом в руке». С крестом к нему не подходить! Будто Азазелло: «Отрежу руку».

Центром махновщины была страна, которую называют и Новороссией, и Южной Украиной. В городах — Екатеринославе, Мариуполе, Александровске — большинство составляли русские и евреи, а вот на селе абсолютный перевес был на стороне украинцев (малороссов). Гуляй-Поле — очень большое, богатое, культурное (три церкви, синагога, библиотека, кинематограф и, что вовсе удивительно, — свой театр) село. Основали его в XVIII веке поселенцы с правобережной Украины. И в начале XX века украинцы были там в большинстве, хотя в округе жило немало русских, евреев, немцев (богатые немецкие колонии стали одной из первых жертв махновщины).

Махно и его соратники (Щусь, Каретник, Семенюта, Лютый, Белаш) были убежденными интернационалистами.

ми, но по этнической принадлежности большинство из них — украинцы. Собственно, и сами махновцы этого не скрывали. Махно своим родным языком называл именно украинский, хотя и признавал, что толком не мог на нем говорить — отвык за долгие годы, проведенные в каторжной тюрьме: «...не владея своим родным украинским языком, принужденно должен был уродовать его так в своих обращениях к окружавшим меня, что становилось стыдно...» Это, однако, не помешало людям других национальностей признавать в Махно именно украинца. Украинец, но не украинский националист! Свою родную страну Махно называл Украиной: «...у нас, на Украине...» — не раз писал он. Первая часть его воспоминаний называется «Русская революция на Украине», а третья «Украинская революция». Слова «Украина» и «Россия» («Великороссия») часто встречаются на одной странице, но соотносятся они не как целое и часть, а как две разные страны.

Наконец, официальное название махновского движения — Революционная повстанческая армия Украины. Слово «Украина» встречается и на знаменах махновцев. Последний махновско-большевистский договор (2 октября 1920 года) со стороны большевиков подписывали представители Украинской Советской Социалистической Республики. Словом, Махно действовал скорее в украинском мире, чем в русском.

Но Малышев деукраинизирует и своего героя, и саму историческую реальность. Достаточно сказать, что в журнальном варианте романа нет даже слов «Украина», «украинский», «украинцы». Просто нет. Нет такой страны. Нет такого народа. А народный герой Номех и его товарищи — русские люди: «Мы русские», — говорит Номех Аршинову.

Правда, в книжном варианте романа Украина и украинцы есть, но их место и роль довольно трудно интерпретировать. С Украиной понятно — это здесь лишь географическое понятие, а вот с украинцами сложнее. Изредка находим даже украинизмы: «Мир, диду Тарас», «чую, диду Тарас...». Поэт Сенин переживает, что он не знает жизни «южно-русских и украинских селян». Махновский боец-«хохол» закалывает штыком русского офицера. Заметим, что в мемуарах Махно слово «хохол» (с точки зрения обра-

зованных украинцев, это слово бранное) не употребляется ни разу. В общем, какие-то хохлы-украинцы существуют, но Махно и его соратники — русские люди, не хохлы.

Среди противников Номеха помимо большевиков и белых выделяются петлюровцы. Из текста мы о них почти ничего не узнаем. Они как будто лишены индивидуальных черт. Лишь мельком упоминается их «вольный запорожский напев», под который петлюровцы уничтожают еврейское местечко: «Петлюровцы оставались в местечке трое суток. Вели себя обычным образом: насиловали женщин, убивали мужчин, таскали за седые бороды стариков, поджигали хаты, куда загоняли корову или пяток овец, чтобы потом разгрести пожарище и, обрезав с туш обугленную плоть, до утра жрать мясо, пить горилку, петь и плясать».

Темная, inferнальная сила, непонятно откуда взявшаяся.

Ради чего они воюют? Скажем, мотивы белых и махновцев в романе объясняются четко: это классовая вражда. Селяне мстят господам за сотни лет угнетения. А с петлюровцами ясно одно: они очень-очень жестокие. Даже происхождение слова «петлюровец» выводится не от Симона Васильевича Петлюры, а от петли: «Петлюра пришел, — разобрались крестьяне. — Петлюра — всем петля. И красным, и белым, и Номеху».

Как тут не вспомнить классический роман Михаила Булгакова. Автор «Белой гвардии» тоже изображал петлюровцев в самом неприглядном виде, однако довольно верно рассказал об их социальном и национальном происхождении.

Игорю Малышеву украинская специфика, кажется, совсем не интересна. Мир его «номеховцев» — это, конечно, русский мир. Евреи и «хохлы» там лишь элементы картины, незначительные детали. Быт, традиции, образный ряд — все русские, не украинские. Пленный белогвардеец рассказывает о разгульной жизни своего отца-барина, который тучами водил к себе крестьянок. Те ходили охотно: «Сверху платочек поскромней накинут, а под ним косы, ленты. Нарядные».

Украинская девушка если и носит платок, то он полностью не закрывает голову. Нет никакого смысла пря-

тать косы и ленты. Это обычный головной убор, который вовсе не говорит, что девица решила пуститься во все тяжкие.

«С неба, чистого, словно тетрадь школьника утром первого сентября, сыпались снежинки, большие и узорные, как терема». Но терем, украшенный резьбой, это русское жилье, причем даже не южнорусское! Резьба по дереву — русское, а не украинское искусство, оно просто невозможно на Екатеринославщине, в Северной Таврии и на Донбассе, там, где развивается действие романа, там, где в самом деле сражались отряды махновцев.

Вот умирает боец, рассматривает приклад своей винтовки:

Сквозь морилку отчетливо проступала елочка древесной плоти.

— Береза? — подумал парень, до революции работавший подмастерьем у столяра. — Или нет?

Через некоторое время он понимает, что нет, не береза, а сосна: «Вспомнился запах сосновой стружки, вьющейся из рубанка, ее тонкое, невесомое тельце».

И это дерево ему родное и близкое. Только где же это в Гуляй-Поле сосны растут? Да и березы. Береза — узнаваемый символ России, Великороссии, Украине совершенно чуждый (на юге встречаются березы, но под влиянием климата они меняются до неузнаваемости, белый ствол становится грязно-зеленым). На Украине ее место занимает хотя бы вишня или червона калина.

Небезызвестная Надежда Савченко, вернувшись на Украину, сказала, что теперь долго не сможет смотреть на березы. Для нее — это символ России. А куда более замечательный украинец, Николай Васильевич Гоголь, сетовал, будто «однообразно печальные сосны и ели» гнались за ним всю дорогу. При этом сосны для Гоголя — обязательный элемент великорусского пейзажа, но не малоросийского, не украинского.

И прощание бойца с жизнью и родиной в романе Игоря Малышева, может быть, лучше всего показывает, что родина эта — русская, даже великорусская. Не зря же вторым

после Номаха-Махно героем романа стал поэт Сенин-Есенин. Исторический Сергей Есенин впервые и назвал Махно Номахом, и переместил его с Украины далеко на восток.

Пожалуй, правильнее было бы и место действия романа «Номах» перенести на восток или северо-восток, хотя бы на родную Есенину рязанскую землю. На земле украинской его Номах явно лишний.

Палеонтолог собирает по косточкам скелет динозавра. Историк реконструирует прошлое по источникам — документам, мемуарам, хроникам. Только по источникам и можно восстановить духовный и материальный мир прошлого.

Добросовестный автор исторических романов тоже идет путем историка. Скажем, малоизвестный роман украинского писателя Виктора Ахинько «Нестор Махно» подходит на беллетризованную монографию. Роман Игоря Малышева гораздо художественнее, но он очень далек от исторической реальности. Здесь напрашивается словосочетание «неисторический роман», которое еще несколько лет назад использовал Евгений Водолазкин. Хотя «Лавр» почти ни в чем не сходен с «Номахом», но объединяет их намеренное дистанцирование от исторической реальности.

Что же всем этим хотел нам сказать Игорь Малышев?

В книге есть интересный эпизод. Поэт Сенин-Есенин отправляется к махновцам: «...собрал в чемоданчик одежду и еду на дорогу, зашил в подкладку деньги за последнюю изданную книгу и сел в поезд до Ростова, от которого было рукой подать до Украины...» Дело происходит, по всей видимости, весной 1919 года, когда Ростов был в руках белых. Так что из ЧК Сенин угодил бы прямо в белогвардейскую контрразведку... Основные дороги из России на Украину лежали севернее. Скажем, сам Махно еще в 1918-м возвращался на Украину через Белгород и Харьков, а ехать в Ростов — помимо всего прочего, это большой и ненужный крюк делать. Но всем, наверное, понятно, что фраза про путь на Украину через Ростов — отсылает читателя вовсе не ко временам Нестора Махно... История у Малышева только камуфлирует его интерес именно к современности. Вот что говорил сам Игорь Малышев в интервью «Российской газете» (30 августа 2017-го):

Нынешняя Россия не знает, что она такое и зачем она существует. У Советского Союза была сверхзадача — построение коммунизма в отдельно взятой стране <...> Сейчас каждый сам за себя, зарабатывая деньги, пробиваясь к власти, вот и вся идея. Об идеалах даже не заикаюсь. Хотелось бы, чтобы страна осознала, зачем она существует. Не для куршес-велей же, и не для яхт, не для этих диких свадеб за миллионы долларов...

«Номах» — вызов этой сытой и безыдейной современности. Его герой борется за справедливость, за счастье всех трудящихся, за правду. И этот герой — русский человек, новый Стенька Разин. Поэтому писателю и понадобились лишь те черты исторического Нестора Махно, что соответствовали этому образу. Так вместо подлинного Нестора Махно, украинского анархиста и безбожника, возник русский православный борец за справедливость — Нестор Номах.

Игорь Шайтанов. Спасибо, Сергей, за ваше чрезвычайно интересное выступление. Наша конференция близится к завершению, и я попрошу последнего нашего спикера, критика Анну Жучкову, подвести итог разговору. Анна, так в чем же все-таки заключаются те самые вызовы истории, с которыми сталкивается современность? Потому что вызовов прозвучало огромное количество, и нам, судя по всему, необходимо их как-то собрать.

Анна Жучкова. Я попробую. Не буду повторяться, что современная литература обращена к истории, а просто предположу — почему. Наверное, она будет обращена к истории до тех пор, пока не сможет ответить на вопрос: что — кроме боли и раскаяния — мы получили от XX века? В чем его благо? Потому что, не приняв и не поблагодарив прошлое, мы не сможем идти дальше.

Если мыслить масштабами идеологии и цифрами массовых смертей, то блага в этой истории не найти. Хотя, мне кажется, новый ракурс обращения к истории в 2017-м был маркирован именно романом Юзефовича «Зимняя дорога», потому что именно в нем оказалась ясно заявлена основная сегодняшняя тенденция, а именно — смещение взгляда с *истории масс* на *историю человека*.

Время хаоса заканчивается? Прорастает что-то новое? Шорт-лист «Русского Букера» показал, что у писателей вызывают интерес те этапы истории, что беременны противоречиями и рождают раскол, — опричнина у Гоголя, махновщина у Малышева, разрушение многовекового уклада Русского Севера у Дмитрия Новикова... И акцент делается — на вариантах выбора своей судьбы отдельным человеком. Потому что именно в эти эпохи на первый план выходит проблема отдельного выбора и рождения в человеке личности.

Монархисты и бомбисты, белые и красные, коммунисты и демократы, либералы и ватники... Весь XX век — это время бинарных оппозиций, но эта программа столько раз переворачивалась, что перестала работать. «Новый реализм» тоже рассматривал мир бинарно и потому — закончился. Сегодня литература ставит очень личностные, экзистенциальные вопросы: кто я? какой я? как справиться с жизнью без идеологических котурнов? «Учитель Дымов» С. Кузнецова, «Неизвестный» А. Слаповского, «F20» А. Козловой, «Прыжок в длину» О. Славниковой написаны о выборе человеком своего пути, каким бы этот выбор ни был.

И — в качестве коды: на книжной ярмарке в Красноярске у стенда редакции АСТ читатель, листая «Тайный год» М. Гоголя, уныло спрашивает: «Про историю?» И другой, прочитавший, ему откликается: «Нет, что вы, — про человека! Про его душу».

Игорь Шайтанов. Мы постоянно спорим об истории, что бы ни считать историей: время ли, которое открывается прямо за дверью сегодняшнего дня, или то, что как будто бы давно погребено под могильной плитой, но постоянно шлет нам своих призраков. Наш разговор, как водится, был чреват смещением точки зрения, столкновением мнений. Но есть одно отличие от обычных ток-шоу: говоря об исторических романах, *мы спорили и о самих спорах*, о том, почему мы так яростно спорим, уверенные каждый в своей непререкаемой правоте, как будто каким-то неведомым способом истина открылась только одной из сторон. И это при том, что мы все готовы согласиться (кажется, единственный раз!), что живем и спорим в век «после правды». Так не стоит ли усомниться в том, что

она безусловно известна кому-то одному при полном заблуждении всех остальных? Это допущение, наверное, и есть путь к тому, чтобы кого-то услышать и о чем-то договориться.

Публикация и подготовка текста Елены ПОГОРЕЛОЙ

History as a challenge to the modern time in the Russian Booker novel *The Russian Booker Conference 2017*

DOI: 10.31425/0042-8795-2018-3-13-40

Elena A. Pogorelaya

Candidate of Philology

Russian State University for the Humanities

(6 Miusskaya Sq., Moscow, 125993, Russia; email: ellisatis@mail.ru)

Abstract: Held in the Silver Age extension of the State Literary Museum, the Booker Conference 2017 was devoted to the contemporary historical novel. Why is it that novelists are increasingly more likely to look for solutions to present-day problems through retrospection, invoking the long bygone or a more recent past, travelling back to the origins of Russian history and the 20th century's turbulent revolutionary events that paved the way for our present existence? Which challenges seem particularly poignant, and where do they come from? The speakers include novelists Petr Aleshkovsky and Olga Slavnikova, critic and essayist Vladimir Novikov, and literary critics Evgeny Vezhlyan, Anna Zhuchkova, and Elena Pogorelaya. Also present was writer and historian Sergey Belyakov (Ekaterinburg) to talk about the novel *Nomakh*. All participants concurred that, while overcoming historical inertia remained a key challenge in contemporary novel-writing, serious progress has been achieved in recent years, judging by the shortlists and the winners of the major literary prizes.

As usual at this conference, the Russian Booker's literary secretary Igor Shaytanov was its moderator. The hosting institution was represented

by Mikhail Shaposhnikov, head of the Silver Age Literature Department.

Keywords: The Russian Booker Prize, contemporary Russian novel, historical novel, historical phantasmagoria, the world 'post-truth'.

The text was received on 21 January 2017.

The publication has been funded by the Russian Science Foundation (RSF); project No. 17-78-30029.